

18+

Александр Вяземский

Тени прошлого

Роман-загадка



Александр Вяземский

Тени прошлого. Роман-загадка

<https://litres.ru/74370153>

ISBN 9785007100588

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

День моего второго рождения».

Так начинается расследование, которое перевернёт представление о русской и французской литературе. Пушкин не погиб на дуэли в 1837 году. Он инсценировал смерть, бежал во Францию и стал Александром Дюма.

«Тени прошлого» — это история о свободе и её цене. О любви, пережившей смерть. О мести, запечатанной в чернила. И о тайне, которую лучше оставить нераскрытой.

Что, если величайший русский поэт и величайший французский романист — один человек?

Содержание

ПРОЛОГ. ТРИ ПУЛИ	7
ЧАСТЬ I. АРХИВ	14
Глава 1. Запах старой бумаги	14
Глава 2. Лот №47	19
Глава 3. Цена Тишины	30
Глава 4. Дневник Дантеса	36
Глава 5. Ключ от архива	41
ЧАСТЬ II. ПОБЕГ	46
Глава 6. Свеча на Мойке	46
Глава 7. Выстрел	52
Глава 8. Ночь после дуэли	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Тени прошлого

Роман- загадка

Александр Вяземский

© Александр Вяземский, 2026

ISBN 978-5-0071-0058-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Я начал жить,
когда я умер.

— А. П., он же А. Д., 1837

ПРОЛОГ. ТРИ ПУЛИ

5 декабря 1870 года. Пюи, близ Дьеппа, Нормандия. Дом Александра Дюма-сына.

Дождь хлестал по стеклам с той яростью, какая бывает только в декабре у моря. В спальне на втором этаже горела одинокая свеча. Ее свет метался по стенам, выхватывая то золоченый корешок книги, то край бархатной портьеры, то лицо умирающего.

Александр Дюма-отец лежал на огромной кровати красного дерева. Грудь вздымалась тяжело, с присвистом. Ему было шестьдесят восемь. Тело, которое он сорок лет трагил на пиры, дуэли, любовниц и бессонные ночи за письменным столом, отказывалось служить. Врачи разводили руками: сердце, печень, почки — всё сразу.

У постели сидели двое: Александр Дюма-сын — строгий, подтянутый, с вечно осуждающим выражением лица, — и старая служанка Мари, помнившая «месье Александра» еще молодым и нищим.

— Воды, — прохрипел умирающий.

Дюма-сын поднес к его губам стакан. Рука не дрожала. Он привык к смерти: его мать угасала от чахотки месяц за месяцем, и он видел это своими глазами. Но сейчас было иначе. Сейчас умирал отец — человек, которого он боготворил и стыдился одновременно.

— Папа, — сказал он тихо. — Ты бредил сегодня ночью.

— Я всегда брежу. — В голосе старика мелькнула прежняя усмешка. — Я писатель. Бред — моя профессия.

— Ты говорил по-русски.

Свеча треснула. Служанка Мари вздрогнула во сне и перекрестилась, не просыпаясь.

— Что я говорил? — спросил Дюма-отец, и его глаза — светло-карие, почти желтые — вдруг стали ясными и трезвыми.

Дюма-сын достал из кармана листок.

— Я записал. Ты произнес: *«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»* Потом: *«Пора, мой друг, пора...»*

— Он поднял глаза. — Это стихи. Русские стихи. Откуда ты их знаешь?

— Ты уверен, что я их не знаю?

Вопрос повис в воздухе. Дюма-сын почувствовал холодок — тот самый, который испытывал в детстве, читая отцовские романы.

— Принеси мой бювар, — сказал старик. — Тот, старый, с золотым тиснением. В нижнем ящике стола. Ключ под чернильницей.

Сын вышел. Шаги простучали по коридору и стихли. Через минуту он вернулся с потертым кожаным бюваром, который отец возил с собой тридцать лет и никогда не открывал при посторонних.

— Открой.

Внутри лежали пожелтевшие бумаги. Сверху — рисунок пером: профиль человека с бакенбардами и курчавыми волосами. Подпись по-французски: «*Moi, à 37 ans. Le jour de ta seconde naissance*». «Я в 37 лет. День моего второго рождения».

— Кто это? — спросил Дюма-сын, хотя где-то глубоко внутри уже знал ответ.

— Это я. — Старик говорил тихо, но отчетливо. — За три дня до того, как я умер в первый раз.

— В первый раз?

— Слушай меня. — Он схватил сына за руку. Пальцы, еще вчера не могшие удержать перо, сжались как тиски. — У меня мало времени. Ты поклянешься, что эта тайна умрет с тобой.

— Клянусь.

— Тогда слушай. Меня зовут Александр Пушкин. Я родился в Москве в 1799 году. Я написал «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Я был камер-юнкером, должником и рабом. В январе 1837 года я инсценировал свою смерть на дуэли. Меня похоронили в Святогорском монастыре — вернее, тело чахоточного унтер-офицера, загримированное под меня. А я уехал в Париж.... В этот самый момент миру явился Александр Дюма.

Тишина. Дождь за окном стих, словно прислушался. Потом ударил с новой силой.

— Этого не может быть, — сказал Дюма-сын.

— Может. Ты читал «Капитанскую дочку»? Ее написал я. «Пиковую даму»? Я. А потом — «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго». Всё это — я. Один человек. Два имени.

— Но зачем?

— Чтобы жить. — Старик закрыл глаза. — Там, в России, я был птицей в клетке. Здесь я стал свободным. Я заплатил за это всем: женой, детьми, именем, языком. Но я жив. До сих пор жив.

— Значит, — медленно проговорил Дюма-сын, — ты не мой отец.

— Я твой отец. Я вырастил тебя. Я учил тебя писать. Я любил тебя — может быть, не так, как любят обычные отцы, но так, как умел. А кровь... какая разница? Кровь — это всего лишь чернила, которыми пишется судьба.

Он закашлялся — долго, страшно, с хрипом. Мари проснулась, бросилась к нему. Дюма-сын сидел неподвижно.

— В бюваре всё, — прошептал старик, отдышавшись. — Дневники. Письма. Прочти. И реши, что с этим делать.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал?

— Ничего. Пусть Пушкин останется Пушкиным, а Дюма — Дюма. Им нужны памятники. Мне нужна была жизнь. Я ее получил.

Он закрыл глаза. Дыхание выровнялось, потом замедлилось, потом стало почти неслышным — как шелест переворачиваемой страницы.

— Папа! — Дюма-сын бросился к нему.

— Я не умер, — прошептал старик. — Я просто... начал жить. Во второй раз.

Он выдохнул — длинно, медленно, как будто воздух выходил не из легких, а из самой души. Грудь поднялась в последний раз и опустилась. Ресницы дрогнули и замерли. Свеча на столике качнулась — то ли от сквозняка, то ли оттого, что в комнате только что закончилась целая жизнь.

Дюма-сын сидел неподвижно. Он смотрел на лицо отца — только что живое, говорившее, — и видел, как по нему разливается покой. Не смерть. Именно покой. Тот самый, о котором старик писал когда-то: «Пора, мой друг, пора...»

Мари всхлипнула, перекрестилась и закрыла ему глаза. За окном стих дождь. В наступившей тишине было слышно только, как остывает камин. Александр Дюма-отец умер. Александр Пушкин — на тридцать три года раньше.

Дюма-сын долго сидел у постели, держа отца за руку. Мари плакала в углу. Дождь стих, уступая место свинцовой тишине. Потом он встал. Открыл бювар снова. На самом верху лежал листок, исписанный по-русски. Он не знал этого языка, но последнюю строчку, выведенную крупными дрожащими буквами, почему-то понял:

«Я начал жить, когда я умер. И я умер, когда жил. Это и есть счастье».

Он сложил листок и спрятал в карман. Бювар запер в ящик стола. Тайна отца стала его тайной.

Сорок семь лет спустя. Петроград, октябрь 1917 года.

Пьер Дюма, внук Александра Дюма-отца по линии его дочери Мари-Александрин, стоял перед камином в особняке на Фонтанке, где располагалась французская военная миссия. Ему было пятьдесят два года — седой, сухощавый, с фамильными светлыми глазами на смуглом лице. В Петроград он приехал не воевать — его послали разбирать архивы союзников перед надвигающимся хаосом.

За окнами гремели выстрелы. Город погружался в октябрьскую ночь. В руках Пьер держал старый кожаный бювар с обгоревшей обложкой — тот самый, который его дед когда-то запер в ящик стола.

— Прости, дед, — прошептал он. — Я не могу иначе.

И бросил бювар в огонь.

Он бросил бювар в огонь. Кожа съежилась. Бумага вспыхнула. На мгновение в воздухе повисли слова — русские, французские, перемешанные, как языки Вавилонской башни. Потом всё исчезло. Но рукописи не горят полностью. Что-то уцелело. Что-то ждало своего часа — в частных архивах, в забытых коробках, в тайниках, о которых никто не помнил.

Ждало больше ста лет.

2024 год. Париж.

Аукционный дом Drouot выставил лот №47: «Архив А. Дюма-отца, ранее не описанный. Коробка с бумагами 1844—1850 годов». Никто не обратил на него внимания. Никто,

кроме одного человека.

ЧАСТЬ I. АРХИВ

Глава 1. Запах старой бумаги

Алексей Вяземский не верил в красивые легенды. Он верил в текстологию. В водяные знаки. В химический состав чернил. В спектральный анализ бумаги.

В свои тридцать четыре он был самым молодым хранителем рукописного фонда Пушкинского Дома — и самым неудобным. Из тех, кто на конференциях задает вопросы, после которых докладчики просят воды. Из тех, кто находит ошибки в академических изданиях и сообщает о них авторам лично, с убийственной вежливостью. Из тех, кого коллеги не любят, но вынуждены уважать.

В то утро он сидел в своем кабинете на втором этаже — маленькой комнате с окном на Неву, заставленной книгами от пола до потолка. На столе горела лампа с зеленым абажуром. Пахло старой бумагой, пылью и кофе — он пил его литрами, черный, без сахара. Перед ним лежала рукопись Жуковского — он готовил новое описание фонда.

Ноутбук пискнул.

Отправитель: Jean-Luc Marchand, Drouot, Paris.

Тема: Lot 47. Dumas A. Brouillons divers. Demande de consultation urgente.

Маршан был старым знакомым. Они познакомились на конференции в Сорбонне пять лет назад, потом переписывались, обменивались копиями редких рукописей. Маршан знал, что Алексей интересуется не только Пушкиным, но и французскими романтиками. Знал — и потому прислал этот скан.

Алексей открыл вложение.

На экране возник пожелтевший листок. Черновик какой-то пьесы — судя по ремаркам, исторической. На полях — рисунок пером. Быстрый, почти карикатурный, но точный. Профиль человека с бакенбардами и курчавыми волосами. Алексей приблизил изображение.

Человек на рисунке был похож на Пушкина.

Нет — это был Пушкин. Его профиль, узнаваемый с первого взгляда. Те же бакенбарды. Тот же нос с горбинкой. Тот же выпуклый лоб. Даже манера держать голову чуть набок — та самая, которую он видел на десятках прижизненных портретов.

Подпись под рисунком была сделана по-французски:

«Moi, à 37 ans. Le jour de ma seconde naissance».

«Я в 37 лет. День моего второго рождения».

Алексей откинулся в кресле. Тридцать семь. Пушкину было тридцать семь, когда он погиб. Дюма в 1837 году было тридцать пять — и он был мулатом, а не белым человеком с бакенбардами.

— Этого не может быть, — произнес он вслух. Голос про-

звучал глухо, как будто в комнате не было воздуха.

Он закрыл глаза. Открыл снова.

Рисунок никуда не делся.

Тогда он достал из сейфа эталонный образец — факсимиле последнего письма Пушкина к Геккерну, написанного за день до дуэли. Положил рядом со сканом. Взял лупу — старую, дедовскую, с десятикратным увеличением. Сердце билось где-то в горле — он чувствовал его пульсацию, как перед прыжком в ледяную воду.

Сравнил букву «d» в слове «seconde».

Пушкин писал «d» с характерной петлей вверх — почти как греческую «дельта». Французы так не пишут. Дюма в своих известных рукописях писал «d» стандартно, с петлей вниз.

На рисунке петля шла вверх.

Он проверил еще раз. Поднес лист к свету — бумага вержé, французского производства, но чернила... чернила были русские. Тот особый оттенок, который давал железистый состав на основе дубовых галлов, использовавшийся в Петербурге в 1830-х годах. Алексей знал этот оттенок — он видел его на сотнях рукописей. Ошибиться было невозможно.

Совпадение? Нет. В почерковедении не бывает таких совпадений. Это как отпечатки пальцев — уникальны и безжалостны.

Он встал, подошел к окну. За окном падал снег — редкий для ноября, крупный, как в старом фильме. Он смотрел

на Неву и думал. Вспоминал дневник прапрадеда — Петра Андреевича Вяземского, друга Пушкина. Тот до конца жизни страдал бессонницей и вел записи, полные зачеркнутых строк.

Алексей помнил, как мальчишкой сидел в семейном архиве — огромной комнате в старой квартире на Литейном, куда его пускали только под присмотром деда. Дед, сухой старик с профессорской бородкой, доставал тяжелые тома в кожаных переплетах, листал, но никогда не давал внуку читать самому. «Это тайна, Алеша, — говорил он. — Не твоя. Не моя. Его тайна. Когда-нибудь, может быть, ты поймешь». И захлопывал дневник.

Семейная легенда гласила: прапрадед знал что-то, чего нельзя записать. Алексей с детства считал это старческим бредом. Будто бы Пушкин не умер на дуэли. Будто бы бежал за границу. Будто бы стал кем-то другим. Чушь. Красивая, романтическая, литературная — но чушь.

Но теперь он вспомнил одну фразу из дневника — ту, которую видел в детстве и не понял:

«Он ушел, чтобы остаться. Французская сцена мала для русского актера, но маска приросла к лицу. Боже, храни его тайну».

Тогда он думал, что речь о ком-то из эмигрантов. Теперь...

В дверь постучали — резко, требовательно.

— Алексей Петрович! — Голос Зинаиды Марковны, стар-

шего научного сотрудника. — Вы на планерку идете или как? Все уже в конференц-зале.

Он резко захлопнул ноутбук — быстрее, чем следовало бы. Слишком быстро для человека, который просто просматривает почту.

— Не иду, — сказал он, не оборачиваясь. — Срочная работа.

— У вас всегда срочная работа. — В ее голосе сквозило раздражение. — Директор будет недоволен.

— Переживет.

Шаги за дверью стихли. Алексей выдохнул. Он понял, что ладони вспотели, а сердце все еще колотится. Почему он закрыл ноутбук? Что он боялся показать? Он ведь даже не знал еще, что именно нашел.

Но инстинкт — древний, сторожевой — уже включился. То, что лежало на экране, не предназначалось для чужих глаз. Может быть, вообще ни для чьих.

Алексей сел за стол. Руки дрожали — он заметил это с удивлением. Написал ответ Маршану:

«Жан-Люк, спасибо. Лот №47 снимаю с торгов. Цена любая. Выезжаю завтра. Никому не показывай».

И только отправив письмо, он понял, что с этой минуты его жизнь изменилась навсегда. Он еще не знал, что за ним уже следят — тихие люди из частного фонда наследников Дантеса, которые были очень заинтересованы в том, чтобы коробка с бумагами исчезла навсегда.

Глава 2. Лот №47

Париж встретил Алексея мелким ноябрьским дождем — той особой парижской моросью, которая, кажется, проникает не сквозь одежду, а сквозь время. Он поселился в маленьком отеле на улице Сент-Анн, в двух шагах от аукционного дома Drouot. В номере пахло старой обивкой и чужим табаком.

Он почти не спал. Всю ночь пересматривал скан, увеличивал, сравнивал, прогонял через три программы графологического анализа. Результат был однозначен: почерк принадлежал человеку, чей моторный навык формировался в русской письменной традиции. Автор думал по-русски, а потом переводил на французский — и это выдавали микроскопические паузы, видимые в неравномерном нажиме пера. Тонкие линии сменялись жирными в неожиданных местах — там, где мозг переключался между языками, а рука не поспевала за мыслью.

Утром он выпил двойной эспresso, надел костюм — тот самый, в котором защищал диссертацию, — и отправился на торги.

Drouot гудел. Аукционные залы, узкие коридоры, бесконечные витрины с чужими судьбами. В главном зале продавали импрессионистов — слышались выкрики «миллион», «миллион двести», «продано». Алексей прошел мимо, даже

не взглянув. Ему нужен был малый зал подвального этажа, где выставляли сомнительные лоты без гарантии подлинности.

Лот №47 стоял на столе предаукционного просмотра — простая картонная коробка с выцветшей наклейкой: «*Dumas A. Brouillons divers, 1844—1850. Provenance: succession M. L. de V.*». Он открыл ее дрожащими руками. Бумаги. Десятки листов. Сверху — тот самый рисунок. Он взял его в руки — осторожно, как взрывоопасный предмет. Поднес к свету. Да, сомнений нет: это Пушкин. Его профиль. Его почерк. Его подпись — измененная, замаскированная, но его.

— Вы интересуетесь?

Голос раздался за спиной — тихий, вкрадчивый, с легким акцентом.

Алексей обернулся. Перед ним стоял человек лет шестидесяти, сухой, с безукоризненной выправкой, в сером пальто, которое стоило, вероятно, месячную зарплату хранителя Пушкинского Дома. Узкое лицо, светлые, почти прозрачные глаза. Улыбка вежливая, но без тепла — так улыбаются люди, которые привыкли получать то, что хотят, но еще не решились, враг вы или временное препятствие.

— Да, — сказал Алексей. — А вы?

— Я представляю интересы одного частного собрания. — Человек достал визитку. Золотое тиснение: «*Барон Жан-Клод де Геккерн. Консультант по историческому наследию*».

У Алексея пересохло во рту. Геккерн. Та самая фамилия. Приемный отец Дантеса — Луи Геккерн, голландский посланник, — был одним из главных врагов Пушкина. Это он плел интриги. Это он свел Дантеса с Натали. Это он...

— Вы, кажется, удивлены, мсье? — Барон чуть склонил голову.

— Вяземский, — представился Алексей, беря себя в руки. — Пушкинский Дом, Санкт-Петербург.

Взгляд барона на долю секунды изменился — в нем мелькнуло что-то острое, опасное. Так смотрит шахматист, когда противник делает ход, которого он ждал. Но голос остался ровным:

— Какая приятная встреча. История порой сводит потомков так же тесно, как и предков. Вы позволите?

Он взял из коробки рисунок — именно его, не глядя, — и поднес к свету.

— Забавно, — произнес он. — Дюма редко рисовал. Говорят, у него был ужасный почерк и еще более ужасный характер. Но этот рисунок... вполне изящен. Вы не находите, что он похож на...

— На Пушкина, — закончил Алексей.

Пауза. Они стояли друг против друга, как дуэлянты, и между ними была невидимая дорожка — десять шагов до барьера. Где-то наверху гремел аукцион, стучали молотки, но здесь, в подвальном зале, было тихо, как в склепе.

— На Пушкина? — Барон поднял бровь. — Пожалуй. Но

это ничего не доказывает. Мало ли кто рисовал на полях. Дюма был эксцентричен.

— Вы знаете, что это не просто рисунок, — тихо сказал Алексей. — Вы знаете, что в этой коробке. Поэтому вы здесь.

Барон улыбнулся — теперь почти тепло, что было еще страшнее.

— Вы проникательны, мсье Вяземский. Как ваш предок. Петр Андреевич, кажется? Он был другом Пушкина. Он знал тайну. И он унес ее в могилу.

— Может быть, пора ее оттуда достать?

— Может быть. — Барон положил рисунок обратно в коробку. — А может быть, некоторые могилы лучше не тревожить. Знаете, мой прапрадед, Жорж Дантес, прожил долгую жизнь. Он умер в 1895 году, в своем поместье в Эльзасе, всеми уважаемый сенатор. Но до конца дней он хранил одну странную привычку: никогда не сидел спиной к двери. И еще — каждое 29 января запирался в кабинете и никого не принимал. До самой смерти.

29 января. День дуэли по новому стилю. День, когда Пушкин умирал на Мойке — или делал вид, что умирает.

— Что вы хотите сказать? — спросил Алексей.

— Ничего. — Барон взял с вешалки шляпу — дорогую, серую, под цвет пальто. — Я просто делюсь семейным анекдотом. Желаю вам удачи на торгах, мсье. Хотя, боюсь, лот №47 может вас разочаровать. Старые бумаги часто хранят не те тайны, которые мы ищем.

Он ушел легкой, танцующей походкой — так ходят люди, которые знают, что их ждут.

Алексей остался один. Он перевел дыхание. Сердце кололось где-то в висках. Потом достал из коробки следующий лист — сложенный вчетверо, пожелтевший до цвета чайной заварки. Развернул.

«Птица не в клетке. Это был черновик. Не законченная рукопись, а набросок — несколько строк по-французски, зачеркнутых и переписанных заново. Внизу — список. Перечень того, что нужно для какой-то поездки или сделки. Большинство пунктов обыденны: свечи, бумага, чернила, теплый плащ, дорожная фляга. Но последняя строка заставила сердце Алексея остановиться.

«...et un passeport au nom de M. D.»

«...и паспорт на имя г-на Д.»

И ниже, тем же измененным, пушкинским почерком, но на этот раз по-русски:

Ждите на старой мельнице. Бумаги готовы. 29 января 1837».

Алексей опустился на стул. В зале никого не было. Только дождь стучал по стеклянной крыше — размеренно, глухо, как метроном.

Он держал в руках доказательство того, что в день собственной гибели Александр Пушкин собирался бежать.

Торги начались в три часа.

Алексей сидел в третьем ряду, сжимая в кармане но-

мерок участника. Коробка стояла на столе аукциониста — невзрачная, картонная, никем не замеченная среди акварелей и бронзовых статуэток. Он оглядел зал: человек двадцать, не больше. В основном — пожилые пары, скучающие перекупщики, пара туристов. И барон. Он стоял у дверей, не садился, только наблюдал.

— Лот номер сорок семь, — объявил аукционист, поправляя очки. — Архив Александра Дюма-отца. Бумаги 1844—1850 годов. Стартовая цена — три тысячи евро.

Алексей поднял табличку.

— Три тысячи, — кивнул аукционист. — Четыре? Есть. Пять? Есть. Шесть?

Он обернулся. Сзади, у дверей, стоял молодой человек с лицом породистого хорька и поднимал табличку. Рядом с ним — барон де Геккерн. Он не участвовал в торгах сам, только наблюдал, но его присутствие ощущалось как холодное пятно в центре зала.

— Десять тысяч, — громко сказал Алексей.

Шепот в зале. Десять тысяч за коробку сомнительных черновиков? Пожилая дама в первом ряду обернулась и посмотрела на него с любопытством.

— Десять тысяч — раз, два...

— Одиннадцать, — произнес хорек.

— Двенадцать.

— Тринадцать.

Алексей встал. Ноги дрожали, но голос звучал твердо.

— Двадцать тысяч евро. — Он обернулся к барону. — Это архив государственной важности. Я представляю Пушкинский Дом в Санкт-Петербурге. У меня есть полномочия снимать лот с торгов по праву первой руки.

Блеф. Чистейшей воды блеф. Никаких полномочий у него не было. Если бы барон потребовал подтверждения, Алексей провалился бы в ту же секунду.

Но барон не потребовал. Он смотрел на Алексея — долго, оценивающе, как на музейный экспонат. Потом едва заметно кивнул хорьку. Тот опустил табличку.

— Двадцать тысяч — раз, два, три... Продано.

Молоток ударил. Алексей выдохнул. Он только что потратил все свои сбережения — деньги, отложенные на квартиру, на машину, на жизнь. Но ему было все равно. Он чувствовал только огромное, как волна, облегчение — и страх. Потому что теперь игра началась по-настоящему.

Когда он выходил из зала с коробкой в руках, барон ждал его у дверей.

— Поздравляю, мсье Вяземский. Вы победили.

— Я не воевал.

— Нет, воевали. — Барон посмотрел ему прямо в глаза. Взгляд был тяжелый, но без враждебности — скорее усталый. — Вы воюете с собственной совестью. Сейчас вы думаете: опубликовать или нет? Рассказать миру или спрятать? Ответьте себе на один вопрос: чего хотел бы он сам?

И ушел, не дожидаясь ответа.

Через час Алексей сидел в пустом кафе напротив Drouot. Коробка стояла на соседнем стуле, накрытая салфеткой, как больной, которого нельзя тревожить. Он заказал коньяк — не из любви к напитку, а чтобы унять дрожь в пальцах. Коньяк был плохой, дешевый, но он согревал.

Перед ним лежала та самая записка. Он перечитывал ее снова и снова, пока буквы не начали расплываться.

«Птица не в клетке. Ждите на старой мельнице. Бумаги готовы. 29 января 1837».

Старая мельница. Мельница на Черной речке, в двухстах саженях от места дуэли. Именно там, по воспоминаниям Данзаса, стояла карета, в которой Пушкина повезли умирать. Именно там, согласно официальному протоколу, раненого поэта перекладывали на сани. Толпа зевак, кровь на снегу, суэта — идеальные условия для подмены. Алексей знал это место. Он бывал там — пустырь, заросший кустарником, и остатки фундамента. Никакой таблички, никакого памятника. Только тишина.

Он допил коньяк и принялся разбирать архив.

Коробка была набита хаотично: черновики пьес, счета от портных, любовные записки на французском — неразборчиво, меню какого-то обеда 1846 года. Но внутри, на самом дне, под ворохом бумаг, лежал небольшой кожаный бьювар — дорожная папка для бумаг, потертая, с золотым тиснением, почти стершимся от времени. От нее пахло дымом — старым, въевшимся, как будто ее когда-то выхватили из камина.

Алексей открыл ее.

Внутри лежало три предмета.

Первое. Карманные часы с гравировкой на внутренней крышке. Он поднес их к свету и разобрал буквы: «А. П. от И. П. 1824». Иван Пущин — лицейский друг, посетивший ссыльного Пушкина в Михайловском в 1825 году, за месяц до восстания декабристов. Тот самый визит, когда Пущин привез запрещенную комедию Грибоедова. Часы, которые Пушкин хранил до самой смерти.

До своей официальной смерти.

Второе. Локон темных волос, перевязанный выцветшей голубой лентой. На ленте — одна буква: «Н.». Наталья? Или Нина Грибоедова, в которую Пушкин был влюблен на Кавказе? Или Неизвестность — последняя любовь, о которой он не рассказал никому?

Третье. Письмо. Запечатанное сургучной печатью, сложенной, но сохранившей оттиск. Перстень с гербом Пушкиных — тот самый, который Александр Сергеевич носил до последнего дня и который после дуэли якобы перешел к Жуковскому.

Алексей аккуратно, чтобы не повредить хрупкий сургуч и развернул листок.

Почерк был тот же — пушкинский, но изменившийся. Более быстрый, более нервный, с французскими вкраплениями, но несомненно его.

«Друг мой, пишу тебе из Парижа, из мансарды, из дыма и

гама, из новой жизни, которая пахнет типографской краской и чесноком. Ты спрашиваешь, не жалею ли я. Отвечаю: я умер, чтобы воскреснуть. Пушкин был рабом. Дюма — свободный человек. Пушкин оглядывался на царя. Дюма пишет для миллионов. Пушкин задыхался в империи. Дюма дышит полной грудью.

Ты спросишь: а стихи? Стихи мои остались там. Здесь я пишу романы — длинные, шумные, как сама жизнь. Я заставил французов читать о чести так, как русские читали «Онегина». Я им рассказал о нас, не называя имен. В «Трех мушкетерах» — все наши. В «Графе Монте-Кристо» — моя месть. В «Королеве Марго» — наша кровь.

Дантес жив. Он знает. Он прислал мне письмо год назад — одно-единственное, через поверенного. Спрашивал, не хочу ли я вернуться. Ха! Вернуться в могилу? Нет, милый мой. Я сжег мосты. Я сжег имя. Я сжег язык — почти. Только иногда, по ночам, я пишу стихи на русском, которые никто никогда не прочтет. Это моя исповедь. Это мой секрет.

Если ты держишь в руках это письмо — значит, я мертв уже по-настоящему. И я прошу тебя: не открывай тайну. Пусть Пушкин останется Пушкиным, а Дюма — Дюма. Им нужны памятники. Мне нужна была жизнь.

Прощай, топ аті. Или — до свидания. Кто знает, как устроена вечность.

Твой А. П., он же А. Д.

Париж, 1847».

Алексей перечитал письмо трижды. Потом положил его на стол и долго смотрел в окно. Дождь кончился. Над крышами Парижа висело бледное ноябрьское небо, по которому плыли низкие облака. Улица Сент-Анн жила своей жизнью — официанты выставляли столики, прохожие спешили по делам, где-то играл аккордеон.

Он думал о том, что Пушкин — Александр Сергеевич, солнце русской поэзии, — прожил вторую жизнь под чужим именем. Написал «Трех мушкетеров». Придумал графа Монте-Кристо. Стал самым читаемым французским писателем XIX века.

А потом он подумал о бароне де Геккерне. О том, что Дантес знал. И о том, что потомки Дантеса до сих пор охраняют эту тайну — потому что она пятнает не только репутацию Пушкина, но и честь их предка. Убийца, который не убил. Дуэль, которая была спектаклем. Позор, который тянулся через поколения.

И еще он подумал: что теперь делать ему, Алексею Вяземскому? Опубликовать находку? Взорвать мировую культуру? Переписать учебники? Или выполнить просьбу, написанную полтора века назад, — и оставить тайну тайной?

Ответа не было. Но в кармане жгли пальцы часы с гравировкой «А. П. от И. П. 1824», а за окном Париж превращался в Петербург — в тот Петербург января 1837 года, когда началась эта история.

Глава 3. Цена Тишины

Ночь Алексей провел без сна.

Он сидел в номере отеля, на кровати, разложив вокруг себя бумаги из коробки. Часы с гравировкой лежали на тумбочке. Локон — в конверте. Письмо 1847 года он перечитал столько раз, что выучил наизусть. Каждый раз, когда он доходил до строки «я умер, чтобы воскреснуть», в груди что-то сжималось — не страх, не восторг, а странное, почти физическое чувство прикосновения к тайне.

Он знал достаточно, чтобы взорвать мировую культуру. И достаточно, чтобы понять: ему нужен ключ. Ключ, который хранится у Геккернов.

Утром он позвонил барону.

— Мсье Вяземский? — Голос в трубке звучал удивленно, но не враждебно. — Чем обязан?

— Нам нужно поговорить. Не на торгах. Не в кафе. У вас.

Пауза. Алексей слышал, как барон дышит — медленно, размеренно, словно обдумывает каждый вдох.

— Приходите. Сен-Жермен-де-Пре, улица Варенн, 17. Завтра в пять. И, мсье Вяземский... не берите с собой диктофон.

Короткие гудки.

Особняк барона оказался именно таким, каким Алексей его представлял. Трехэтажный, серый, с высокими окнами

и кованой решеткой, за которой темнел узкий двор. Внутри пахло воском и старым деревом — тем самым запахом, который Алексей знал по архивным хранилищам, только здесь к нему примешивался едва уловимый аромат лаванды. По стенам — портреты предков. Среди них Алексей узнал Жоржа Дантеса — тот самый бледный красавец с голубыми глазами, которого он видел на гравюрах в учебниках. Но здесь, в домашней обстановке, портрет выглядел иначе: не памятник злодею, а просто человек. Молодой, надменный, но — человек.

Барон ждал его в кабинете, обшитом темным дубом. На столе — кофе, коньяк и старая папка с тесемками. Он сидел в глубоком кресле, положив ногу на ногу, и казался спокойным, но Алексей заметил, как пальцы барона постукивают по подлокотнику — мелко, нервно.

— Вы хотели говорить, — сказал он, не предлагая сесть. — Говорите.

Алексей сел без приглашения. Достал из портфеля копию письма — не оригинал, тот остался в сейфе отеля.

— Я нашел письмо. Пушкин писал его в 1847 году, уже будучи Дюма. Он пишет, что Дантес знал. Что Дантес прислал ему письмо через поверенного — спрашивал, не хочет ли он вернуться. Что он отказался.

Барон молчал. Его лицо было неподвижно, как маска.

— Я хочу знать правду, — продолжил Алексей. — Не часть правды. Всю. У вас есть архив вашего прапрадеда. Я

знаю, что есть. Вы не случайно оказались на торгах — вы следили за лотом №47. Вы хотели его выкупить и уничтожить.

— Вы правы. — Барон вздохнул, и маска на мгновение треснула. — Я скажу вам всё. Не потому что вы мне нравитесь — вы мне не нравитесь, мсье Вяземский. Вы слишком молоды и слишком самоуверенны. Вы думаете, что нашли истину, но вы даже не представляете, насколько она тяжела. Я же... я устал. Семь поколений моя семья хранит эту тайну. Семь поколений мы живем с клеймом убийц гения. Моего сына дразнили в школе: «Твой предок убил Пушкина». Моя жена ушла — не выдержала. Я хочу снять это клеймо. Или хотя бы объяснить.

Он развязал тесемки папки и достал несколько пожелтевших листов.

— Это дневник Жоржа Дантеса. То, что от него осталось. Многие страницы вырваны — он сам уничтожил их перед смертью. Но кое-что уцелело. Читайте.

Алексей взял листы. Почерк был ровный, аккуратный, с твердым нажимом — почерк военного. Но к концу — все более дрожащий, с помарками, с кляксами.

Запись от 29 января 1850 года:

«Сегодня тринадцать лет. Я не могу спать в эту ночь — всегда. Стою у окна, смотрю на снег и думаю: а что, если он не умер? Что, если он инсценировал смерть и сейчас живет где-то под чужим именем? Эти слухи о Дюма... Нет,

безумие. Но почему-то каждый раз, когда я читаю «Монте-Кристо», мне кажется, что это он. Он говорит со мной. Он обвиняет меня. Он не простил.

Я был мальчишкой. Мне было двадцать пять. Я не понимал, с кем играю. Я думал, дуэль — это честь, а не убийство. Я думал, жена — это трофей, а не живой человек. Я был глуп и жесток, и мне понадобилось двадцать лет, чтобы это понять. Я не хотел его смерти. Я хотел его унижения — что, может быть, еще хуже.

Я стрелял в грудь, потому что мне сказали, что он в кольчуге. А потом — снег, кровь, крики... Я не знаю, жив он или нет. Но если жив — пусть знает: я жалею. Я молчу не из страха. Я молчу из стыда».

Алексей поднял глаза.

— Он знал?

— Догадывался. — Барон кивнул. — Но доказательств у него не было. Только предчувствие. И он носил его в себе шестьдесят лет. Читайте дальше — там есть еще.

Алексей перевернул страницу. Запись 1852 года — через год после встречи в театре:

«Я видел его вчера. В театре «Амбигю-Комик». Шла премьера его новой пьесы — «Граф де Морсер», сценическая версия «Монте-Кристо». Он сидел в директорской ложе — грузный, смуглый, седой. Совсем не похож на того Пушкина, которого я помнил. Но когда он заговорил со мной в фойе... этот голос. Эта интонация. Это цоканье языка, которое я

не мог забыть за четырнадцать лет.

Он спросил, понравилась ли мне пьеса. Я сказал: «Очень. Особенно сцена разоблачения». Он улыбнулся — и я понял: он знает, что я знаю. И я знаю, что он знает, что я знаю. Мы оба в ловушке.

Я хотел спросить прямо: «Вы — Пушкин?» Но не смог. Словно какая-то сила сжала горло. И он ничего не сказал. Только посмотрел на меня — так, как смотрел тогда, на Черной речке, за секунду до выстрела. С любопытством. Без страха. С превосходством.

Он ушел, а я остался стоять у колонны. И вдруг понял: я боялся этого человека. Я боялся его тогда, в 1837-м. Я боюсь его сейчас. Живой он или мертвый — он сильнее меня. Он всегда был сильнее».

Алексей отложил листок. В кабинете стало тихо — только часы на каминной полке отсчитывали секунды.

— Почему вы отдаете это мне? — спросил он наконец.

— Потому что я — Геккерн. — Барон горько усмехнулся. — Кто мне поверит? Решат, что я обеляю предка. Решат, что это фальшивка. А вы — Вяземский. Потомок друга Пушкина. Ваш голос будет звучать иначе. Если вы решите заговорить.

— Я ничего не опубликую, — сказал Алексей. — Но я сохраню тайну. Для тех, кто будет после нас.

Барон долго смотрел на него. В его светлых глазах что-то дрогнуло — не благодарность, нет. Скорее облегчение. Об-

легчение человека, который слишком долго нес груз в одиночку.

— Вы благородный человек, мсье Вяземский. Как ваш предок.

— Мой предок был трусом и интриганом. — Алексей впервые за вечер улыбнулся. — Но другом. Настоящим другом. А это важнее.

Они пожали друг другу руки. Рукопожатие было сухим и коротким — два человека, которые не станут друзьями, но которые теперь навсегда связаны.

Алексей взял папку и вышел в парижскую ночь. Улица Варенн была пуста — только редкие фонари отражались в мокром асфальте. Он остановился на углу, глядя на темные окна особняка, и подумал: странно, как тесно история сплетает потомков. Вяземский и Геккерн — через полтора века после дуэли — сидят в одной комнате и решают судьбу тайны.

Он знал правду. Теперь вопрос был в другом: что с ней делать? Он еще не решил. Но одно он знал точно: прежде чем принять решение, он должен узнать всё. До конца.

Глава 4. Дневник Дантеса

В отеле Алексей сел на кровать и открыл папку. Руки двигались медленно, почти торжественно — как будто он открывал не старые бумаги, а дверь в склеп.

Дневник Жоржа Дантеса представлял собой разрозненные листы — многие вырваны, некоторые обгорели по краям. Видимо, перед смертью он пытался уничтожить архив, но не успел. Или не смог. Огонь пощадил самое важное — или самое стыдное.

Алексей читал, и перед ним разворачивалась история человека, который прожил долгую жизнь с грузом тайны. Не с грузом вины — с грузом неизвестности. Дантес не знал наверняка, жив Пушкин или мертв. Но догадывался. И эта догадка жгла его сильнее, чем любая уверенность.

Первая запись, которую он прочел — та, что барон показывал ему в кабинете, от 29 января 1850 года, тринадцатая годовщина дуэли. «Я молчу не из страха. Я молчу из стыда». Алексей перечитал ее и перевернул страницу.

Дальше шли годы — 1851, 1852, 1853. Дантес писал редко, иногда раз в год, но каждая запись была как удар колокола.

Запись от 1852 года — через год после встречи в театре «Амбигю-Комик». Почерк здесь был особенно неровным, с помарками, с кляксами — видно, что рука дрожала.

«Я видел его вчера. В театре «Амбигю-Комик». Шла премьера его новой пьесы — «Граф де Морсер», сценическая версия «Монте-Кристо». Я не хотел идти. Жена уговорила — сказала, что весь Париж будет, что наше отсутствие вызовет вопросы. Я сидел в ложе и молился, чтобы он меня не заметил.

Он заметил.

После второго акта, в фойе, он подошел сам. Грузный, смуглый, седой — совсем не похож на того Пушкина, которого я помнил. Но когда он заговорил... этот голос. Эта интонация. Это легкое цоканье языка на согласных, которое я не мог забыть за четырнадцать лет. Он спросил: «Вам понравилась пьеса, барон?» — и в слове «барон» мне послышалась издевка.

Я ответил: «Очень. Особенно сцена разоблачения».

Он улыбнулся — и я понял: он знает, что я знаю. И я знаю, что он знает, что я знаю. Мы оба в ловушке. Я хотел спросить прямо: «Вы — Пушкин?» Но не смог. Словно какая-то сила сжала горло. Да и что бы я сделал, если бы он ответил «да»? Вызвал бы его на дуэль? Во второй раз? Смешно.

Он ушел — а я остался стоять у колонны, как дурак. И вдруг понял: я всегда боялся этого человека. Я боялся его тогда, на Черной речке, когда он стоял у барьера и смотрел на меня поверх пистолета. Я боюсь его сейчас. Живой он или мертвый — он сильнее меня. Он всегда был сильнее».

Алексей оторвался от чтения. Встреча в театре — не вымысел. Она была. Пушкин и Дантес стояли друг против друга через четырнадцать лет после дуэли. И оба знали. И оба молчали.

Он перевернул еще одну страницу.

Запись от 1855 года. Почерк стал спокойнее — видимо, первые потрясения улеглись, осталась только хроническая, привычная боль.

«Сегодня я получил известие о смерти императора Николая. Говорят, он умер от пневмонии. Но я знаю: он умер от стыда. Крымская война проиграна. Севастополь пал. Черноморский флот затоплен. Империя, которую он строил тридцать лет, рухнула в одночасье.

Я думал об этом человеке много лет. Он знал тайну. Он был ее автором. Он послал Пушкина в Париж — не как беглеца, а как агента. Он читал его донесения. Он дергал за ниточки. А теперь он унес эту тайну в могилу.

Кто следующий? Я? Дюма? Мы все умрем, так и не рассказав правды. Может быть, так и надо».

Алексей поднял голову. Вот оно. Подтверждение того, о чем он догадывался, читая дневник прапрадеда: побег был не просто заговором друзей. За ним стоял император. Пушкин был не беглом — он был агентом. Операция «Француз». Этап первый.

Он читал до рассвета. Записи становились все короче, все мрачнее. Дантес старел. Его дети выросли, его карьера во

Франции сложилась — он стал сенатором, уважаемым человеком, кавалером ордена Почетного легиона. Но тень Черной речки не отпускала.

Запись от 1880 года:

«Сегодня в Москве открыли памятник Пушкину. Газеты пишут: „Солнце русской поэзии взошло снова“. Я сидел в своем кабинете, смотрел на снег за окном и думал: они ставят памятник человеку, который, возможно, еще жив. Который, возможно, читает эти же газеты и смеется. Или плачет. Я не знаю. Я уже ничего не знаю».

Последняя запись — 1890 год, за пять лет до смерти. Подчерк дрожащий, буквы расползаются, как старые шрамы.

«Я стар. Я скоро умру. Врачи говорят — сердце. Но они не знают, что мое сердце остановилось еще тогда, в 1837-м. Все эти годы я жил с чужим сердцем — с сердцем человека, который не знает, убийца он или нет.

Когда меня не станет, пусть скажут, что я был убийцей — я заслужил. Но пусть когда-нибудь узнают и другое: я не убивал. Я стрелял в бычий пузырь. Пушкин жив. Или был жив. Или... я уже ничего не знаю.

Я устал».

Алексей закрыл папку. За окном светало. Париж просыпался — шум первых машин, голуби на карнизе, запах свежего хлеба из булочной внизу. Он сидел и смотрел в стену, не видя ее.

Два человека знали тайну при жизни Пушкина-Дюма.

Один — император Николай, который создал ее. Другой — Жорж Дантес, который стал ее пленником. Оба молчали. Оба унесли правду в могилу.

Теперь эта правда лежала на коленях у Алексея Вяземского.

Он взял телефон и набрал номер.

— Маршан? Это Вяземский. Спасибо за всё. Я возвращаюсь в Петербург. Нет, публикации не будет. Да, я уверен. Прощайте.

Он положил трубку и начал собирать чемодан. Руки двигались механически — рубашки, бумаги, часы с гравировкой. Ему нужно было домой. В семейный архив Вяземских. Потому что теперь он знал: его прапрадед тоже был частью заговора. И в его дневниках могут быть ответы на вопросы, которые еще остались.

Алексей застегнул чемодан и в последний раз посмотрел в окно. Улица Сент-Анн просыпалась. Официант в кафе напротив выставлял столики. Жизнь шла своим чередом. И только где-то там, в толще времени, две тени — Пушкина и Дюма — все еще стояли друг против друга, как в зеркале, и не могли расстаться.

Он вышел из номера и закрыл за собой дверь.

Глава 5. Ключ от архива

В Петербург Алексей вернулся поздно вечером. Самолет приземлился в Пулковое под мокрым снегом — тем самым, который идет в ноябре уже третью неделю. Он взял такси и поехал в город, глядя на мелькающие за окном новостройки, потом — на старые кварталы, на Обводный канал, на купола. Петербург казался другим. Не изменился — изменился Алексей.

Дома он бросил чемодан в прихожей, даже не раскрыв. Прошел в кабинет. Включил лампу с зеленым абажуром. Достал из сейфа дневник Дантеса, письмо 1847 года, часы с гравировкой, локон. Разложил на столе.

Теперь ему нужен был последний элемент. Свой собственный архив.

Семейный архив Вяземских хранился здесь же, в квартире — небольшая комната без окон, заставленная стеллажами от пола до потолка. Коробки, папки, перевязанные бечевкой письма. Сто лет никто не разбирал эти бумаги всерьез. Дед иногда перебирал, но ничего не систематизировал. Отец не интересовался вообще — он был инженером, а не филологом. Алексей стал первым, кто подошел к архиву профессионально.

Он надел тонкие хлопковые перчатки и открыл дубовую коробку с надписью: «П. А. Вяземский. Дневники. 1830—

1878». Внутри лежали тетради в кожаных переплетах — одни толстые, другие тонкие, в четверть листа. Пахло кожей, пылью и временем.

Прапрадед вел записи всю жизнь. Многие страницы были зачеркнуты, некоторые вырваны. Но то, что осталось, Алексей читал до глубокой ночи. Он искал не вообще — он искал конкретные даты. 1837 год. 1847 год. 1853 год. И находил.

Запись от 30 января 1837 года. Почерк нервный, буквы прыгают — видно, что рука дрожала, когда Вяземский писал эти строки:

«Вчера хоронили Сашу. Гроб не открывали — Жуковский настоял, сказал, что лицо сильно изменилось от раны. Никто не спорил. Все были слишком убиты горем, чтобы задавать вопросы. Я стоял у могилы и думал: „Господи, только бы никто не догадался“. Я знаю, что он жив. Я один из немногих. Данзас сделал всё как надо — он рассказал мне подробности сегодня утром, шепотом, в пустой комнате. Тело чахоточного унтер-офицера лежит в нашей земле, под именем Пушкина. А Саша сейчас где-то на пути в Швецию. Море штормит, я проверял сводки. Боже, храни его».

Алексей перевернул страницу. Через несколько листов — еще одна запись. 3 марта 1847 года. Почерк спокойнее, но с тем же напряжением в нажиме.

«Получил письмо от нашего друга из Парижа. Он жив, здоров, пишет романы. Тысячи людей читают его, не зная, кто он на самом деле. Он стал знаменит — богат, как Крез,

известен, как Бонапарт. Но письмо его грустное. Он спрашивает о Натали — я не знаю, что ответить. Она вышла за Ланского, дети растут, но она никогда не была счастлива по-настоящему. Он просит никому не рассказывать. Я и не расскажу. Пусть Пушкин будет Пушкиным, а Дюма — Дюма. Им нужны памятники. Ему нужна была жизнь. Он ее получил».

И еще одна — от августа 1853 года:

«Вчера в Баден-Бадене Александра Осиповна Смирнова-Россет встретила Дюма. Я не предупредил ее — не успел, да и не знал, что они окажутся там одновременно. Она сразу его узнала. Прибежала ко мне в номер, бледная, дрожащая: „Петр Андреевич, я видела призрак. Он жив. Это он. Этот смех, это цоканье языка — это Саши“. Я усадил ее, дал воды, попросил говорить тише — стены в этих отелях тонкие. Она поклялась молчать. Теперь нас трое: я, Жуковский и Россети. Трое хранителей. Жуковский стар и болен, я старею, она одна всех переживет. Кому достанется тайна после нас?»

Алексей отложил дневник. Трое. Трое посвященных. Все они уже умерли — Жуковский в 1852-м, Вяземский в 1878-м, Смирнова-Россет в 1882-м. Тайна пережила их, ушла в землю вместе с ними — и только теперь, через полтора века, всплыла снова.

Он подошел к окну. За окном падал снег. Мойка текла в гранитных берегах — черная вода, белые набережные, жел-

тые огни фонарей. Все как тогда, в январе 1837-го. Только Пушкина больше нет.

Или есть?

Он сел за стол и разложил все документы перед собой. Часы с гравировкой «А. П. от И. П. 1824». Локон с голубой лентой. Письмо 1847 года. Дневник Дантеса. Дневник Вяземского.

Пять предметов. Пять ключей. Три свидетеля. Одна тайна.

Он знал *что*. Теперь он хотел понять *как*.

Как Пушкин решился на побег? Как прошла дуэль — минута за минутой? Что он чувствовал, когда втирал в лицо темный порошок в стокгольмской гостинице? Как писал «Трех мушкетеров», зная, что никто никогда не узнает, кто он на самом деле? Что сказал сыну на смертном одре?

Алексей посмотрел на свое отражение в темном окне. Он знал ответ на главный вопрос: публиковать или нет. Не публиковать. Он принял это решение еще в Париже, глядя в глаза барону де Геккерну. Тайна должна остаться тайной — такова была последняя воля Пушкина-Дюма, и он, как хранитель, обязан ее исполнить.

Но прежде чем запереть архив навсегда, он должен был прожить эту историю сам. День за днем. Год за годом. От свечи на Мойке до последнего вздоха в Пюи.

Он открыл чистую тетрадь и написал на первой странице: *«Я знаю правду. Теперь я должен ее прожить».*

И начал писать.

ЧАСТЬ II. ПОБЕГ

Глава 6. Свеча на Мойке

27 января 1837 года, за три дня до дуэли. Петербург. Мойка, 12. Ночь.

Александр Сергеевич Пушкин не спал третью ночь подряд.

Он сидел в кабинете — один, без свечи, только огонь камина освещал его лицо. В халате поверх сюртука. С пером в руке, которым он не написал за вечер ни строчки. На столе громоздились бумаги — счета, долговые расписки, неоконченное письмо Бенкендорфу, черновик «Капитанской дочки» с жирным пятном от вчерашних щей. Пахло воском, табаком и сыростью — метель за окном не утихала третьи сутки.

Сто сорок тысяч рублей долгу. Сто сорок. Это больше, чем он заработал за всю жизнь. Цензура — Бенкендорф читает его письма к жене. Интриги — голландский посланник Геккерн плетет паутину, в центре которой бьется Натали. А этот мальчишка Дантес, приемный сынок Геккерна, ходит за ней тенью, шепчет, пишет записки, смеется в гостиных. Вчера на балу у Воронцовых он танцевал с ней третий танец подряд — Пушкин считал, стоя у колонны и сжимая в кармане

незаряженный пистолет.

Он обмакнул перо в чернила и написал на клочке:

«Птица в клетке. Клетка золоченая, но все же клетка. Ключ утерян. Или украден».

Потом перечеркнул. Скомкал. Бросил в камин. Огонь съел бумагу за секунду.

В дверь тихо постучали — три коротких удара, условный знак.

— Войдите.

Вошел Жуковский. Без парика — седые волосы торчали в разные стороны, снег еще не растаял на плечах шинели. Лицо осунувшееся, серое, как у человека, который не спит которую ночь. Он пришел пешком, ночью, в метель, чтобы не привлекать внимания извозчиком. В руках — сафьяновая папка, которую он положил на стол поверх долговых расписок.

— Саша, — сказал он тихо. — Всё готово.

Пушкин посмотрел на папку, но не открыл. Он знал, что внутри: паспорт на имя Александра Дюма, билет на шведскую шхуну, письмо Строганова из Парижа, карта Финского залива с отмеченным маршрутом. Знал — и все равно боялся открыть. Как будто сам вид этих бумаг сделает побег реальным. Неотвратимым.

— Рассказывай, — сказал он глухо.

Жуковский сел в кресло — то самое, в котором Пушкин обычно диктовал, — и заговорил быстро, глотая слова, слов-

но боялся, что стены подслушивают:

— Данзас согласен. Он будет твоим секундантом и делает всё как надо. Пистолеты уже куплены — французские, ударного замка, в оружейной лавке Куракина. Дантес получил анонимное письмо — ему сообщили, что ты придешь в кольчуге. Поэтому он выстрелит первым и будет целиться в грудь. На этот случай у тебя под сюртуком — бычий пузырь с голубиной кровью. Она не сворачивается на холоде, дает яркий цвет. Ты падаешь. Данзас поднимает крик.

— А если он выстрелит в голову? — спросил Пушкин спокойно, как о погоде.

— Не выстрелит. Он кавалергард, его учили стрелять в корпус. И письмо о кольчуге направит его точно в грудь.

— А если он промахнется?

— Тем лучше. Тогда ты стреляешь в воздух — или в снег, — и мы объявляем, что дуэль окончена. Ты смертельно ранен. От пережитого. — Жуковский попытался улыбнуться, но улыбка вышла жалкой, как трещина на стекле. — Саша, если ты не хочешь...

— Хочу. — Пушкин встал и подошел к окну. За стеклом мела метель — та самая, которую потом опишут во всех учебниках. — Я хочу жить, Василий Андреевич. Я хочу писать. Я хочу видеть, как растут мои дети. Я хочу увидеть Париж — не в книгах, не на гравюрах, а своими глазами. Я хочу дышать полной грудью — без Бенкендорфа, без долгов, без этого проклятого камер-юнкерского мундира. Я хочу свобо-

ды. Даже если она будет носить чужое имя.

— А Натали?

Пауза. Пушкин повернулся от окна. На каминной полке стоял ее портрет — миниатюра в золотой рамке, написанная год назад. Серые глаза, родинка на левой щеке, та самая улыбка, которую он полюбил на балу у Гончаровых и которую так редко видел теперь.

— Натали не узнает, — сказал он наконец. — Ей так безопаснее. Если она будет знать правду — она выдаст нас всех. Одним взглядом. Одной дрожью в голосе. Ты же знаешь ее — она не умеет лгать.

— Ты предлагаешь ей сыграть вдову. Искренне. С настоящими слезами.

— Я предлагаю ей выжить. — Пушкин сел, потер лицо ладонями. — Если я останусь, меня убьют — рано или поздно. Не дуэль, так интрига. Не интрига, так долговая тюрьма. Ты сам мне говорил: я задыхаюсь. А если я умру по-настоящему — что будет с ней? С детьми? С Машей, Сашей, Гришей, Ташей? Царь назначит пенсию — да, это он умеет. Но разве этого достаточно?

Жуковский молчал.

— Скажи мне, — продолжил Пушкин, — что я делаю правильно. Скажи, что это не трусость.

— Это не трусость, Саша. — Жуковский подался вперед, взял его за плечи. — Это самая храбрая вещь, которую я видел в жизни. Умереть для всех, кого ты любишь. Жить под

чужим именем. Писать на чужом языке. Это не побег. Это перерождение.

Пушкин долго смотрел на друга. Потом открыл папку и вынул паспорт.

Alexandre Dumas-Davy de la Pailleterie.

— Красивое имя, — сказал он. — Длинное. Как у аристократа.

— Так и надо. Ты теперь аристократ — сын наполеоновского генерала и чернокожей рабыни с Сан-Доминго. История, достойная твоего прадеда Ганнибала.

— Арап Петра Великого. — Пушкин усмехнулся — впервые за вечер. — Второй раз за сто лет. Только теперь я буду не арапом, а мулатом.

— В Париже это модно.

— В Париже всё модно. — Он взял перо и написал на полях паспорта, мелко, в углу: «*Птица не в клетке. 29 января 1837*». — Когда?

— Дуэль послезавтра, в пятом часу пополудни. Смеркается рано, видимость будет плохая. К ночи ты уже в Кронштадте. Через двое суток — в Стокгольме. Через неделю — в Париже.

— И меня встретит Матье.

— Да. Он уже получил письмо. Квартира на Сен-Лазар готова. Издатели ждут новый роман. Тыходишь в литературу с черного хода — и сразу в главную дверь.

Пушкин кивнул. Жуковский встал. Они обнялись — мол-

ча, крепко, как обнимаются перед дальней дорогой, из которой не возвращаются.

— Прощай, Саша.

— До свидания, Василий Андреевич. Я еще вернусь. Когда-нибудь. Может быть, призраком.

Жуковский ушел в метель. Пушкин остался один.

Он постоял у окна, глядя, как снег заметает следы на мостовой. Потом подошел к каминной полке, взял портрет Натали. Долго смотрел. Затем, стараясь не скрипеть половицами, прокрался в спальню.

Натали спала. Лунный свет падал на ее лицо, на разметавшиеся по подушке темные волосы. Ей было двадцать четыре года. Она была самой красивой женщиной Петербурга. И она не знала, что ее муж только что решил умереть.

Он наклонился и поцеловал ее в висок — легонько, почти невесомо. Она что-то пробормотала во сне и повернулась на другой бок.

— Прости, — прошептал он. — Когда-нибудь ты поймешь.

Вернулся в кабинет. Достал из шкафа дорожный несессер. Начал складывать вещи — две рубашки, томик Байрона, перочинный нож, медальон с портретом жены. И карманные часы, подаренные Путиным в Михайловском.

«А. П. от И. П. 1824».

Глава 7. Выстрел

27 января 1837 года, 16:45. Черная речка, у Комендантской дачи.

Снег валил стеной.

В пяти шагах не было видно ничего — только белое, белое, белое, как в тот миг, когда закрываешь глаза перед прыжком в неизвестность. Четверо мужчин стояли на утоптанной площадке среди голых деревьев, и пар от их дыхания смешивался с метелью. Ветер завывал в ветвях, заглушая все звуки, кроме собственного голоса.

Константин Данзас отсчитывал шаги, протапывая дорожку в снегу. Десять шагов. Он шел медленно, утапывая снег почти до земли — чтобы никто не поскользнулся. На отметке в десять шагов он бросил шинель: барьер. Второй барьер — еще через десять шагов. Итого двадцать. По условиям дуэли, противники могли подходить к барьерам и стреляться с любого расстояния.

Пушкин сидел на сугробе, закутанный в тяжелую медвежью шубу. Он был спокоен — тем особым, неестественным покоем, какой бывает только перед прыжком в ледяную воду. Страх ушел еще вчера, когда Жуковский закрыл за собой дверь. На смену страху пришло возбуждение — веселое, злое, почти детское. Ему вдруг захотелось смеяться. Он сдержался — смех сейчас был бы неуместен.

Дантес и его секундант, виконт д'Аршиак, стояли поодаль. Дантес был бледен, но держался прямо, как на параде. Молодой, красивый, в безукоризненном мундире Кавалергардского полка. Он не хотел этой дуэли. Но отказаться не мог — честь, положение, все эти слова, которые так легко произносить в гостиных и так трудно — на снегу, с пистолетом в руке. Он получил анонимное письмо накануне: «Пушкин будет в кольчуге. Цельтесь в грудь». И теперь стоял, сжимая рукоятку пистолета, и думал только об одном: попасть.

Пушкин смотрел на него и думал о другом. О том, что этот мальчишка — ему ведь всего двадцать пять — даже не понимает, в какой игре участвует. Он думает, что это дуэль. А это — билет на свободу.

— Барьеры установлены, — объявил Данзас. Голос его звучал глухо, как сквозь вату. — Господа, прошу. Сходитесь.

Пушкин встал. Скинул шубу — Данзас подхватил ее. Под шубой был черный сюртук, плотно облегавший грудь. Сюртук топорщился: под ним, обернутый в несколько слоев полотна, лежал бычий пузырь, наполненный голубиной кровью. Кровь была еще теплой — Жуковский наполнял пузырь утром, на кухне у Тургенева, дрожащими руками, пока хозяин дома стоял на страже.

Пушкин двинулся к барьеру. Снег скрипел под сапогами — противно, резко. Десять шагов. Девять. Восемь. Он думал о Натали. О том, как она спала сегодня утром, когда он уходил. Он не стал ее будить. Только поцеловал в висок — ле-

гонько, почти невесомо. Она что-то пробормотала во сне и повернулась на другой бок.

Пять шагов. Четыре. Три.

Дантес уже стоял у своего барьера. Их разделяло двадцать шагов, но расстояние сокращалось с каждым движением. Дантес тоже двинулся вперед — быстрее, чем ожидалось. Он не ждал. Он хотел стрелять первым.

— До барьера! — крикнул д'Аршиак.

Пушкин сделал еще шаг. Теперь между ними было шагов двенадцать. Он начал поднимать пистолет.

Дантес выстрелил первым.

Грохот разорвал тишину. Дым окутал площадку. Пушкин почувствовал удар в грудь — сильный, как удар кулаком, резкий, сбивающий дыхание. Пузырь лопнул. Горячая жидкость разлилась под сюртуком, пропитала ткань, хлынула наружу алым пятном. На мгновение ему показалось, что сердце остановилось. Но оно билось. Билось, как бешеное.

Он покачнулся. Выронил пистолет — тот упал в снег, глухо, почти беззвучно. Ноги подкосились. Пушкин рухнул лицом в снег. Холод обжег щеку. Снег набился в рот, в нос. Он лежал и думал: «Получилось. Господи, получилось».

— Убит! — закричал Данзас. Голос его сорвался на фальцет, как у мальчишки. — Господа, он убит! Карету! Скорее!

Пока д'Аршиак и Дантес бежали к дороге — звать кучера, — Данзас наклонился над телом. Закрыв его собой, заслонил от чужих глаз. Лицо его было белее снега. Губы тряслись.

— Жив? — прошептал он, почти не разжимая губ.

— Жив, — еле слышно выдохнул Пушкин. Говорить было трудно — грудь болела так, будто его лягнула лошадь. — Но синяк будет адский. Ты смотри, какая сволочь — прямо в пузырь попал. Хороший выстрел. Я бы даже заплодировал, если б мог.

— Молчи. Лежи. Сейчас понесу.

— Константин...

— Что?

— Спасибо тебе.

— Потом. Все потом. Сейчас ты мертв. Лежи и не дыши.

Данзас подхватил его на руки. Пушкин висел, обмякнув, изображая мертвое тело. Голова запрокинулась. Рука безвольно болталась. Он слышал крики, топот, голоса — и сквозь этот шум, как сквозь толщу воды, пробивался гул собственного сердца.

Карета уже ждала у мельницы — та самая, со старым кучером Жуковского, который был подставным и знал маршрут. Данзас занес Пушкина внутрь и захлопнул дверцу.

В карете было темно. Пахло кожей, конским волосом и свежей кровью. На полу лежал человек — унтер-офицер, чухоточный, при смерти. Его нашли в морском госпитале два дня назад: он был без сознания, врачи сказали — не жилец, от силы сутки. Ему заплатили вперед — деньги ушли сестре. Теперь он умирал по-настоящему, и его смерть должна была стать смертью Пушкина.

— Быстро! — скомандовал Данзас. — Переодеваемся.

Они работали молча и слаженно. Окровавленный сюртук — на умирающего. Чистая рубашка — на Пушкина. Сверху — тулуп, пахнувший овчиной и рыбой. Унтер-офицер хрипнул — коротко, страшно. Грудь его вздымалась редко, с присвистом. Жить ему оставалось час, не больше.

— Он еще жив, — сказал Пушкин.

— Тем лучше, — ответил Данзас. — Его увидят живым. Потом он умрет у всех на глазах. Никто не усомнится.

— Быстро! — скомандовал Данзас. — Переодеваемся.

Они работали молча и слаженно, как будто репетировали это сто раз. Окровавленный сюртук — на мертвеца. Чистая рубашка — на Пушкина. Сверху — тулуп, пахнувший овчиной и рыбой.

— Дальше ты один, — сказал Данзас, завязывая последний узел. — Возница довезет до Кронштадта. Там ждет шхуна — «Святой Олаф», шведский капитан. Ему заплачено вперед, он сделает все как надо. Через двое суток ты в Стокгольме.

— А ты?

— А я везу тело домой. Его положат в твою постель. Арендт, Даль, Спасский — они уже предупреждены. Осмотрят, засвидетельствуют смерть. Жуковский проследит, чтобы гроб не открывали. Через два дня вся Россия будет рыдать.

Пушкин схватил его за руку — крепко, до боли в пальцах.

— Скажи Натали...

— Ничего не скажу. — Данзас покачал головой. — Ей так безопаснее. Ты знаешь это не хуже меня. Когда-нибудь — может быть. Не сейчас.

Карета остановилась у старой мельницы. В тени полуразрушенного амбара, где когда-то мололи муку, а теперь только ветер гулял между балок, стояли простые розвальни с укутанным в тулуп возницей. Пушкин пересел в них — быстро, ловко, почти весело. Боль в груди уже стихала, сменяясь тупым онемением. Адреналин вымывался из крови, оставляя только усталость и странное, пьянящее чувство свободы.

— Прощай, Константин Карлович.

— Прощай, Александр Сергеевич. — Данзас перекрестил его — быстро, по-военному. — Увидимся ли?

— Кто знает. — Пушкин усмехнулся. — Может быть, когда-нибудь. В другой жизни. Под другим именем.

Розвальни дернулись и пошли по льду Финского залива, в сторону темного, едва угадывающегося горизонта. Снег продолжал валить — густой, непроглядный. Через несколько минут карета, розвальни и мельница исчезли друг для друга, растворились в метели.

Пушкин обернулся в последний раз. Петербург лежал позади — скопление желтых огней в снежной пелене. Город, который он любил и ненавидел. Город, в котором он был рабом и гением. Город, который через несколько часов узнает, что Пушкин умер.

Он отвернулся. Поправил на груди медальон с портретом жены. Холод пробирался под тулуп, но он не замечал его. Он смотрел вперед — туда, где за ледяными торосами, за серой балтийской водой, за шведским берегом лежал Париж.

И сказал вслух, в темноту, по-французски — впервые в жизни обращаясь к самому себе на чужом языке:

— Alexandre Dumas. Enchanté. Je suis écrivain. *Александр Дюма. Очень приятно. Я писатель.*

Глава 8. Ночь после дуэли

Петербург, Мойка, 12. Та же ночь.

Наталья Николаевна не спала.

Она сидела в гостиной, на краешке дивана, выпрямив спину, как на приеме у императрицы. Руки лежали на коленях — одна в другой, неподвижные, холодные. Она не плакала. Слезы придут позже — через несколько дней, когда она поймет, что случилось на самом деле. А сейчас — только холод внутри и странное, неестественное спокойствие, какое бывает в эпицентре взрыва.

Дом был полон людей. Врачи — Арендт, Даль, Спасский — входили и выходили из кабинета, говорили шепотом, грели руки у камина. Жуковский стоял у дверей, как часовой. Вяземский сидел в углу, закрыв лицо ладонями. Данзас, еще в заснеженной шинели, отвечал на вопросы жандармов — тихо, коротко, сухо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.